



Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД**Ключевский мыслитель и художник**

В некрологе М. С. Корелина теперь сам вызывающий некрологи Ключевский говорит про своего усопшего товарища-профессора, что он был «настолько основательный историк, чтобы знать, какой коловорот ужасов представляет история»*. И если все-таки из своих научных занятий Корелин вынес оптимистическое миросозерцание, то это потому, что он верил в силу идей. «Если оно (человечество) еще не погибло в хаосе внешних бедствий и своих собственных заблуждений, значит, есть в нем спасительные силы могущественнее этого хаоса, которые со временем одолеют его, возворят прочный порядок: это идеи, выражющие лучшие свойства и стремления человеческого духа, его идеалы». Но так излагая верования историка-гуманиста, излагая их не без скептического налета, Ключевский ни здесь, ни на какой-либо другой из своих талантливых страниц не высказался определенно и явственно, верит ли он сам или нет в спасительную мощь идеалов и идей. Мы знаем, с его слов, наверное, только одно: поскольку идеи — плоды личного творчества, поскольку они остаются духовной собственностью своих индивидуальных носителей, не больше, постольку они в его глазах не имеют исторической ценности, не имеют даже исторического бытия. Предмет истории не человек, а люди, и потому только те мысли, которые нашли для себя целый «прибор» воплощения и организации и в этом своем качестве стали воздействовать на собирательность, на группы,— только они приобретают характер исторических факторов. Впрочем, говорить о Ключевском лучше всего словами Ключевского, а своими словами его не расскажешь, и потому читатели не посетуют на цитаты из него, между прочим —

* Вопросы философии и психологии. 1899. Кн. 46. С. XVII.

и на те, которые образно и ярко освещают его мнение по затронутому вопросу. «Сколько веков, — говорит он, — от создания мира молния, по-видимому, бесполезно и даже разрушительно озаряла ночную мглу, пугая воображение и не увеличивая количества света потребляемая человеком, не заменяя даже ночника при колыбели! Но потом электрическую искру поймали и приручили, дисциплинировали, запрягли в придуманный для нее снаряд и заставили освещать улицы и залы, пересыпать письма и таскать тяжести — словом, превратили ее в культурное средство. И идеи нуждаются в подобной же обработке, чтобы стать культурно-историческими факторами... Идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах, в частном личном существовании, столь же мало увеличивают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках»*. Подобно тому как «набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора» и лишь тогда является ощутимым объектом для историка, так и всякое другое представление, всякая идея получает «дееспособность» исключительно в том случае, если они овладевают какой-нибудь практической силой и становятся заметны или властны для общества.

Едва ли можно оспаривать утверждение, что только те идеи представляют для историка реальную величину, которые покинули свою одинокую родину — чье-нибудь отдельное сознание. Но эта аксиома сама по себе еще не указывает, принадлежит ли исповедующий ее к тем историкам-оптимистам, которые убеждены, что «коловорот ужасов», хаос мировых событий будет покорён силой торжествующей идеи, светлым влиянием идеала. И не отсюда, не из подобных изъявлений Василия Осиповича, а из общего духа и смысла его книг ясно, что сам он был далек не только от того «вечно-безоблачного лазурного миросозерцания», которому не считал причастным и оптимиста Корелина, но и вообще не был историком-энтузиастом, тем менее — историком-эвдемонистом. Он, правда, говоря о долге, завещанном предками, утверждал, что «их недоимки — наши задачи»; он дорожил «историческим сознанием», потому что оно предохраняет «как от косности, так и от торопливости», и, по его поощряющему слову, «каждый из нас должен быть хоть немногого историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином»**. Но, вообще, в перспективах и далях грядущего он

* Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1904. Ч. I. С. 31, 32.

** Там же. С. 40–42.

не усматривал, кажется, какого-нибудь несомненного и желанного благополучия. Прошлое не обнадеживало его в будущем,— по крайней мере, ничего не обещало, ни за что не ручалось. Ведь он часто на протяжении русского исторического пути отмечал не только остановки, но и попятные шаги. Ведь он рассказал нам, что «в исходе XVII в. люди, задумавшие учредить в Москве академию, первое у нас высшее училище, находили возможным открыть доступ в нее “всякого чина, сана и возраста людям без оговорок”», а «полтораста лет спустя, при Николае I, секретный комитет гр. Кочубея... решительно высказался по поводу самоубийства обучавшегося живописи дворового человека за вред допущения крепостных людей “в такие училища, где они приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию”»*. Ключевский знал, что эту линию регресса можно было бы провести и дальше, что изгнание из школы «кухаркиных сыновей» было провозглашено гораздо позднее кочубеевского комитета. Он слишком знал вообще, что, употребляя одно из его любимых выражений, «походка» истории очень неровна и «пугливая оглядка назад» неизбежно сопутствует многим движениям вперед. Такое сознание не обрекает фатализму, но, во всяком случае, мало поощряет оптимистические надежды. И если, по определению Ключевского, история — «коловорот ужасов», то разве мы теперь из этого коловорота вышли? И не правы ли те мыслители, которые утверждают, что, по существу, в конце всех концов, по своему последнему внутреннему смыслу настояще ничем не отличается от прошлого и мир — одно и то же, и на протяжении веков и пространств перед нами только разыгрываются вариации на одну и ту же тему, так что прошлое ничем не интереснее настоящего, и все равно, с какого момента и в каком месте ни стать зрителем человеческой трагикомедии? Ключевский был такой историк, которому в одной фактической истории было тесно, и он уходил из нее в общие мысли, в практическую психологию, в литературную критику: уже одно это, в связи с тою жизненной мудростью, которая богато рассыпала по его страницам свои полновесные зерна, — уже одно это позволяет думать, что идеи коловорота, коловорота, вечной смены и повторения событий не могли не посещать его большого ума и от изучения времен не отвлекать его к тому, что сверхвременно и надисторично. Однако было бы ошибочно и произвольно считать его пессимистом — уже потому, что пессимизм категоричен в самом отрицании своем, а Василий Осипович, воплощение осторожности,

* Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908. Ч. III. С. 7.

одинаково избегал и решительных утверждений, и решительных отрицаний. Его книги имеют особенный тон, который и делает их исключительную внутреннюю музыку; и вот, вслушиваясь в этот единственный тон Ключевского, в тембр его исторического повествования, вы невольно замечаете, что перед вами — скептик. Аттической солью шутки, всегда готовой и всегда уместной, столь же тонкой, сколько и увлекательной, пересыпает он свое изложение и разрешает ею то настроение серьезности, которое овладело было и им самим, и уж наверное его читателями. Серьезное от этого не улетучивается,— оно приходит опять, и еще более углубленное; но через несколько шагов нас встречает новая острота, и мы уже сами идем ей навстречу и ждем ее. Правда, это почти совсем отсутствует в «Житиях святых» и гораздо, несравненно меньшее характеризует «Боярскую думу», чем его «Курс» и его небольшие этюды. Вообще, особенности его стиля для нас будут необъяснимы, если мы забудем, что большинство его произведений — скрытые диалоги: он читает лекции, он произносит речи,— он беседует. Конечно, его собеседники хранят внешнее молчание, но потенциально они отвечают, подают реплики, безмолвно участвуют в каком-то разговоре; Ключевский видит или воображает пред собою аудиторию; он непременно с нею считается; как писатель, вернее — как сказатель, он почти всегда — на людях, и люди ему необходимы. Он слушает себя их слухом, он читает себя их глазами. Внутренне одинокий, уединенный работник не только библиотек и архивов, но и собственного духа, едва ли кому-нибудь доступный в самой средине своего сердца, он, однако, тихо и бережно взращенные плоды своих дум и изысканий имеет потребность выносить наружу, не только в том обычном смысле, в каком это свойственно каждому преподавателю, но и в более глубоком, в смысле психологическом. Ключевский — прирожденный и преднамеренный собеседник; ему нужно, чтобы его слушали (недаром в частной жизни был он такой гений разговора, властитель беседы). Но так как, повторяем, в глубине-то сердца, на дне своей мысли, он всегда остается один и наедине с собою, то его умственная словесная общительность не есть настоящий лиризм души, и может быть, именно поэтому она чаще всего принимает блестящую форму остроумия, неотразимой насмешливости, и по всей его речи излучисто вьется прихотливая змейка тончайшей иронии, здесь и там загораясь неожиданными переливами своей окраски. Шутка порою заслоняет человека от других, устанавливает, говоря словами Ницше¹, «пафос расстояния», и не оттого ли, между прочим, так широко пользовался ею, одновременно общительный и уединенный,

Ключевский? Как бы то ни было, уже эта манера его, эта склонность к иронии,— уже она, по-видимому, говорит о его скептицизме, и с первого взгляда, читая его, представляешь себе, что подобно тому, как был, у Виктора Гюго², «человек, который смеется», так Ключевский — историк, который смеется. Бесстрастное лицо Клио было бы ему не к лицу. На его устах — если не постоянная, то частая усмешка. И он слишком остроумен, чтобы для этой способности своего духа не использовать того изобильного материала, какой предлагает человеческая история. Это и придает его рассказу особое освещение, характерный колорит. Василий Осипович — такая выдающаяся индивидуальность, что в его передаче меньше, нежели в чьей-либо, может быть эпическое спокойствие. Неизменно верный истине, он, однако, людей и события обращает к себе той стороной, какую он сам выбирает, и этот выбор есть уже оценка и приговор. Замечательно, что при своей щепетильной научной добросовестности он все-таки не может не вмешиваться в ход исторического процесса. Он всегда — рядом с теми, о ком передает, собою оттеняет их, и только через его изысканную призму можем мы глядеть на русских деятелей (впрочем, последнего слова он почти не употребляет, заменяя его — без всякого умысла — словом «делец»). Относясь к истории необычайно серьезно, но в то же время подчас обращая ее также и в оселок для своего остроумия, в мишень своей меткости, он в результате достигает того, что герои истории — вместе с тем и его герои. Не только история, но и он — автор Алексея Михайловича или Петра III. Совместное творчество объективного факта и самого Ключевского — они и создают ту живую книгу, которая называется «Курс русской истории».

Огромная доля, вносимая в эту русскую историю самою личностью историка, выступает перед читателями не только в виде оригинального дарования, но и как та скептическая окраска, о которой мы только что говорили. Однако более пристальное изучение Ключевского значительно колеблет первоначальную мысль о нем как о скептике и нигилисте, как об ученом-Мефистофеле.

Нигилистические искры, иронию, сомнительный ореол уничтожающей насмешливости и отрицания над умной головою Ключевского тушит его сердце. Как мало он ни склонен показывать его, как ни дорожит он помянутым уже пафосом расстояния, удаляющей преградой острой шутки,— он все же не умел скрыть своей прекрасной тайны,— не скрыл того, что сам он — добрый и благоволящий человек, что он также — усердный искатель и ценитель чужой доброты. До умиленности, правда, он никогда не доходит,

ни пред кем и ни перед чем; но «добрые люди древней Руси» привлекают его собственное доброе внимание. Он славит «ежедневную, молчаливую, тысячерукую милостыню»; он сердечно говорит про русскую женщину, что жалость к бедному и убогому это — чувство, с которым она на свет рождается, и оправдывает свою ласковую мысль образом Юлиании Лазаревской³; он благотворителя Ртищева⁴ присоединяет к числу «тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия, по крайней мере, в простом ходячем смысле этого слова... Ртищев не понимал обиды, как иные не знают вкуса в вине, не считая этого за воздержание, а просто не понимая, как это можно пить такую неприятную и бесполезную вещь. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении». И, может быть, Ключевский не считал неправыми всех этих Ульян и Ртищевых, которые оставили такой завет жизни: «Жить — значит любить ближнего, то есть помогать ему жить; больше ничего не значит жить и больше не для чего жить» *.

В речи о Новикове он говорит, что не вспоминать, а видеть хотелось бы ему доброго человека: «А для изображения Сем. Ив. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалея подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримирамо, это — с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! — с нюханьем табаку, например, и т. п.... Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали “Божьим человеком!”» **.

В публичной лекции «Два воспитания» Ключевский сказал: «Видеть детей и любить их — это одно и то же», и эту лекцию он заключил не менее выразительными, такими же незабвенными словами: «Нам нет нужды опасаться, что жизненный путь наших детей по выходе из школы будет скучно усыпан печалью. У нашей молодежи того и другого пола много сердца, а было бы сердце — печали найдутся» ***.

* Ключевский В.О. Добрые люди древней Руси. Москва, 1907. С. 7, 9, 19, 20, 30.

** Ключевский В.О. Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени // Русская мысль. 1895. Кн. I. С. 52.

*** Ключевский В.О. Два воспитания // Русская мысль. 1893. Кн. III. С. 85, 99.

Вся эта апология сердца и непритворный хвалы доброму человеку, эти афоризмы: «видеть детей и любить их — это одно и то же», «было бы сердце — печали найдутся» — все это не вышло бы из уст Мефистофеля, и надо всем этим только насмехаясь бы действительный насмешник или кто-нибудь из тех «нравственных сухарей», которым наш историк уподобляет Анну Иоанновну и Бирона⁵. Очевидно, Ключевский сложнее, чем он кажется сначала, и присуща ему не одна только змеиная мудрость. И если историческая дистанция, если даже отдаленность времен не заглушала в нем живых эмоций, симпатического отношения к давнишней доброте, то еще более вызывало в нем отклики чувства то, что только будет историей, станет прошлым, а пока представляет собою трепет настоящего, злобу и волнение сегодняшнего дня. Те, которые стояли к нему близко, свидетельствуют, что русско-японскую войну и все последние русские события вообще он переносил далеко не исторически, не бесстрастно, и как раз эти впечатления значительно повлияли на строй его политических взглядов, на его заметный уклон влево, на его оценку русского самовластия. И это не случайно, что именно после наших бурных годин появились в печати его слова: «Самовластие само по себе противно как политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть»*. Но помимо этих, в печатном слове не выраженных или выраженных недостаточно определительно, политических сочувствий усопшего историка; помимо его общего отношения к «правительственному испугу»** и к тем испуганным, которые обращаются к власти «со стереотипным предложением cavcanc consoles⁶, а это значит в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы»***, — помимо всего этого, мы имеем один подлинный и никаких сомнений не оставляющий документ, который совершенно ясными и прекрасными словами говорит о том, что живые факты, просто и непосредственно задевающие человеческую душу, возмущающие сердце, сводили Ключевского с его обычной осторожной колеи и побуждали его высказываться столь же авторитетно и прямо, сколько и задушевно. В самом деле, этот ученый, доводивший обдуманность своих утверждений до такой степени, что, например, изложив перед аудиторией сущность западничества и славянофильства, он не по-

* Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV. С. 293.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908. Ч. III. С. 170.

*** Ключевский В.О. Памяти С. М. Соловьева // Научное слово. 1904. Кн. VIII. С. 128.

желал дать им своей оценки и решительно выяснить, на какой же он сам стороне и во что же верует он сам, а предпочел от этого уклониться («теперь не время») и «мимоходом отметить привлекательные особенности обоих направлений»*, — этот зоркий наблюдатель собственных шагов и нещедрый охотник на обзывающие слова, их ревнивый оберегатель, господин своих уст, под свежим и тягостным впечатлением убийства Г. Б. Иоллоса⁷, написал о нем такие строки: «С покойным Г. Б. судьба свела меня в конце 80-х годов, в памятную тяжелую пору. Мы тогда разделили с ним много дружеских печальных бесед. Мне глубоко симпатичен был прямой и ясный взгляд покойного в оценке исторических явлений, полный тонкого понимания жизни, чуждый догматизма. Увидавшись после многих лет при ином настроении умов, при новом складе общественных отношений, мы встретились старыми друзьями. Герценштейн⁸ пал за русский народ, за русского земледельца, и Иоллос обагрил своею кровью чисто-русскую землю, землю города Москвы, собирательницы и устроительницы русской земли (курсив наш. — Ю.А.). Пусть такие смерти останутся в русской памяти символом обновленной России, объединяющей в своем сердце собранные ею народности»**.

Эти слова говорят сами за себя; но, произнесенные Ключевским, так внятно сказанные им на всю Россию, они получают особый смысл и углубляются в своем историческом и этическом значении, в своем благородстве и духовной красоте. Так настойчиво и так даровито высказывавшийся в своем «Курсе» о роли собирательницы-Москвы Ключевский в 1907 году породнил с нею людей чужого племени и показал, что есть родственность высшего порядка, та родственность идей и общего служения, в силу которой русская земля обагряется европейской кровью и падает еврей за русский народ, за русского земледельца. Эта возвышенная концепция создана самой жизнью, эта романтика реальна; но для того чтобы ее подтвердить компетентным словом историка, для того чтобы в эпоху жестокого воинствующего национализма, под гул и угрозы злорадствующих убийству голосов, сказать, что Герценштейн и Иоллос продолжают русскую историю, великое дело собирательницы-Москвы, сказать это именно Ключевскому, — для этого нужно было особенное мужество, и Ключевский нашел его в себе, мужество чести и сердца.

Но, разумеется, не только в этой области непосредственно-сердечных чувств было для него убежище и спасение от поглощающего

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 337.

** Русские ведомости. 16 марта 1907. № 61.

скептицизма, от нигилистической разрушительности. Когда ищешь credo Ключевского, его положительных вероучений, то скоро убеждаешься, что они находятся для него и в самом процессе научной работы, в его отношении к истине, в его умственной честности. Внимательное и бескорыстное изучение факта — уже это одно религиозно, уже это одно предполагает в изучающем наличность каких-то неколебимых догматов. Только специалисты, конечно, имеют право и возможность оценивать все то, что Ключевский сделал для науки, и характеризовать по существу те новые идеи, которыми он щедро одарил своих учеников, свою школу, русскую историографию в ее целом. Но не надо быть специалистом, для того чтобы видеть не только красоту, но и общую значительность его исторического рассказа и его обращение со своими темами, его серьезную стихию вообще. Каждому его читателю ясно, что не чертою беспечального нигилизма, а проявлением глубоко-доброповестного и утвердительного отношения к признанным ценностям служит, например, едва ли не главная внутренняя сторона его первой диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник». Проделать огромный и скучный труд над «житиями» как над историческими источниками и уже на протяжении его заметить, что в сущности это — источник очень скучный, в общих местах и трафаретах, в церковной риторике, в «плетении словес» (как один из агиографов, Епифаний⁹, сам характеризует свое изложение)*, топящий почти все реальное, конкретно-фактическое, для историка ценное, и в этом сознаться, этот отрицательный результат своего исследования явить откровенно, нисколько не затушевывая всей его безотрадной скучности, — для этого нужна именно та мужественная честность духа, та победа над инстинктом самосохранения, от которых, наверное, был бы свободен настоящий скептик. У Ключевского, значит, не было тенденции во что бы то ни стало оправдать свою работу мнимой значительностью выводов, и мы прямо слышим от него хотя бы такое заявление: «Разобранные жития древнейших северных святых не могут служить ни верными образчиками древнейшей северной агиобиографии, ни чистым историческим источником: их литературные приемы и точка зрения на описываемые лица не принадлежат этому периоду, а основные фактические источники не принадлежат непосредственно истории» **. Правда,

* Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 93.

** Там же. С. 51.

можно уловить у него естественную горечь исследователя, собравшего со своей ученой нивы очень необильный урожай, печально жалующегося, в данном случае, на ту несчастливую «заботливость, с какою древнерусские биографы предвосхищают у него работу: ему нечего обобщать, нет нужды по мелким отрывочным и случайным чертам путем утомительного наблюдения воспроизводить общий образ древнерусского агиобиографа; так старательно последний заботился сам спрятать свою действительную, живую личность под ходячими чертами общего типа»*.

Кроме того, Василий Осипович при всей своей склонности к общим картинам и характеристикам, к линиям объединяющим, однако, во имя научной правды, нисколько не торопился их рисовать и проводить и, употребляя одно из его любимых выражений, не «скучал» предварительной кропотливой работой, и не оберегал от своей иронии тех, кто в этом повинен. Черной работой он не гнушался, белоручкой не был и никогда не увенчивал здания недостроенного. Оставаться навсегда в мелочах и подробностях было бы ему тягостно и невозможно, и на только что цитированной странице его «Древнерусских житий» мы встречаем его насмешку над тем состоянием «торжественного самосозерцательного покоя, в котором навсегда поселяются самоуверенные историки, посвятившие свою многолетнюю ученую жизнь начертанию пяти с половиной месяцев из истории маленького народа»; но мелочи и подробности он покидал лишь после того, как их изучил. Только анализ дает право на синтез. И право на свои замечательные обобщения Ключевский приобрел себе неоспоримо, так как он не презрел частного. У него была наклонность к общему, он выходил за пределы факта, но лишь после того как факт исчерпывался до дна. Изложение Ключевский пронизывает мыслью, и он не однажды высказывает о том, что «без историко-философской основы история становится забавой праздного любопытства», что в строении исторического процесса есть свой «силлогизм», есть «своя таблица умножения, свое непрекаемое дважды два, без которого немыслимо никакое историческое мышление»**; ему кажется, что именно в русском обществе XVIII века, где тон давали «случайные» люди, жившие «день за день, мыслившие сами себя только минутными дождевыми пузырями», именно там всего труднее было вкоренить мысль, что «в истории нет ничего случайного и мир не творится вновь каждый

* Там же. С. 403.

** Ключевский В.О. Памяти С. М. Соловьева. С. 120, 123, 131.

день с восходом солнца, что эти постоянно лопавшиеся пузыри возникают и исчезают по точному смыслу законов вековечного исторического процесса и эти безродные знаменитости, выкидываемые капризом фортуны на поверхность жизни, могут, буде того пожелают, умирать без потомства, но не сумеют обойтись без предков»*. Но это совмещается у него, вполне естественно и необходимо, с доверием только к такому миросозерцанию, которое выработано «путем опыта и наблюдения на самом толоке жизни, а не в тишине закупоренного кабинета, где отвлеченным мышлением отливаются математические схемы, прозрачные и кристаллически-правильные, как альпийские льды, но зато ломкие и холодные, как они же»**.

Он не любил ученого щегольства; внешний и внутренний эстетизм не позволял ему выставлять напоказ будничную обстановку той подготовительной мастерской, в которой вырабатываются научные истины, и даже от характеристики Ивана Грозного он на минуту уклонился, чтобы кольнуть слишком усердных поклонников цитаты: «Не менее иных нынешних записных ученых Иван любил пестрить свои сочинения цитатами кстати и некстати...»*** Но внутренне он носил в себе, конечно, цитаты, знания изо всей русской истории и изо всех книг о ней. И удивительно то еще, что хотя у него был неодолимый вкус к людям (именно не столько любовь, сколько вкус к ним) и он очень охотно давал свои знаменитые характеристики исторических фигур; хотя его привлекало человеческое, драматизм истории, ее живые лица, ее лицедеи, ее конкретные спектакли, он, однако, был одинаково силен и в личном, и в безличном элементе исторического процесса, во внутренних причинах и в реальных оказательствах истории, и учреждениям он уделял не меньше, а больше внимания, чем людям. К внешнему описанию, к занимательной иллюстрации он не спешил. Его не отпугивала сухость, и он ее уничтожал, так что везде, на всем пространстве своих книг, он поддерживает в своих читателях почти одинаковую напряженность интереса. Талантливейший рассказчик, знаток и ценитель действенности, далеко не враг анекдота, он тем не менее углубляется и в экономику, в системы и отношения сверхличного характера, в самый механизм прошлого. При этом он не заграждает реальности предвзятыми схемами и, свободный ум, каждое учреждение улавливает в его динамике и жизненном сво-

* Ключевский В.О.И.Н. Болтин // Русская мысль. 1892. Кн. XI. С. 120.

** Там же. С. 119.

*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 243.

еобразие. Он предостерегает от всяческой модернизации: «В умах минувших времен надобно осторожно искать своих любимых мыслей»*, и так же осторожно надобно мерить прежние учреждения мерками теперешними. Оттого, например, земские соборы XVI века в изображении Ключевского имеют право на титул народного представительства, хотя представителями народа являлись там все должностные, служащие лица и хотя «догматика права» не узаконила юридически подобных форм участия общества в управлении**. «Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западноевропейского представительства»***. Или пусть в Западной Европе аристократия обыкновенно создавалась из верхнего слоя общества завоевателей,— это не обязывает историка находить такой же процесс и в Московском государстве: здесь, наоборот, «цвет боярства составился из людей, которые или предки которых подверглись завоеванию, вооруженному или дипломатическому, из князей, сведенных с своих престолов или поспешивших сойти с них, не дожидаясь, пока их сведут. В Москве именно от того и явилось слишком много знатных, что там собралось чересчур много павших и побежденных. Но эта черта может дать больше материала для назидательных размышлений об иронии истории, чем для научного объяснения исторического факта»****. Или к боярской думе нельзя подходить, увлекаясь слишком симметрическими построениями, ревниво оберегая теорию разделения властей, чрезмерно помня о разнице между совещательным и обязательным для власти значением думы: «Люди тех веков не различали столь тонких понятий, возникавшие столкновения разрешали практически в каждом отдельном случае, отдельные случаи не любили обобщать, возводить в постоянные нормы, и не подготовили нам прямого ответа на наш вопрос»*****.

Вот это живое чувство факта, практики, понимание того, чем жили и как мыслили «люди тех веков», умение от сухой и формальной абстракции уходить в самую средину действительности, *in medias res*¹⁰, искусственной плотиной логической схемы не задерживать той естественной подвижности, той вечной текучести,

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 245.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II. С. 498, 499.

*** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 272.

**** Ключевский В.О. Боярская дума. М., 1902. С. 294.

***** Там же. С. 5.

какую представляет собою реальная жизнь, — это все и позволяло Ключевскому прошлое воскрешать, а не препарировать его. До такой степени история у него живет, горит и дышит, что, как это и необходимо, он соединяет ее жанр, ее баталии с ее пейзажем: у него действующим лицом является природа, он не только как условный трафарет, но и ощутительно воспринимает влияние на людей климата и почвы. И оттого самые увлекательные из своих увлекательных страниц он посвящает художественному изображению того, как природа России созидала историю России, то «историческое тело», каким среди других исторических тел является русский народ. Говоря о том факте, который можно бы назвать парадоксом русской истории, о том именно, что когда главная масса населения из черноземной области среднего Днепра передвинулась в область верхней Волги, на волжский суглинок, то поневоле на открытом днепровском черноземе Русь стала «усиленно эксплуатировать лесные богатства и торговать, а на лесистом верхневолжском суглинке стала усиленно выжигать лес и пахать», Ключевский дает потом характеристику этих черноземов и лесов, рисует нам ту силу, которая «держит в своих руках колыбель каждого народа — природу его страны». В противоположность «береговому кружеву» Западной и Южной Европы, Россия лишь малой долей своих границ имеет море. Соседство с Азией оказало на Россию не только моральное действие: «Деятельное участие азиатских ветров составляет климатическое отличие Европейской России от Западной Европы... Воздушная борьба Азии с Европой в пределах нашей равнины невольно напоминает те давние исторические времена, когда Россия служила широкой ареной борьбы азиатских народов с европейскими, напоминала бы, может быть, и более поздние времена, когда в северной полосе завязалась нравственная борьба между веяниями западными и восточными, если бы это явление не было так далеко от метеорологии». Поверхность русской равнины, ее «узорчатая рябь»; лес, который когда-то «назойливыми зарослями оспаривал с трудом расчищенные луг и поле, медведем и волком грозил самому и домашнему скоту», а теперь в южной полосе средней России стоит как «все реющее напоминание» о прошлом; степь с ее «злыми эпизодами, татарскими нашествиями да казацкими бунтами»; русская река, с которой у русского человека не бывало «никаких недоразумений», с которой он жил «душа в душу», «никакой другой стихии, не говоря в песне таких ласковых слов», — недаром Петр Великий «с удивительной силой внимания изучал эту единственную в мире сеть вечно движущихся и не требующих ремонта шоссейных

дорог» *: когда читаешь все это и еще многое другое, посвященное русской природе, то трудно не отаться глубокому восхищению перед этим изяществом слова и мысли, и видишь перед собою уже не только ученого, но и поэта, и вспоминаешь им самим нарисованный облик летописца, у которого «природа прямо вовлечена в историю» и сама — «живое, действующее лицо истории, живет вместе с человеком, радеет ему» **. Так происходит знаменательное совпадение, осуществляется благое наследование: в Ключевском находит себе преемника Нестор¹¹; наивный отшельник, элементарная душа, в знамениях природы чующая волю Божью, через вереницу столетий встречает своего продолжателя в лице тончайшего, изысканного, свободолюбивого мыслителя, и под сенью одной общей природы и одного к ней сыновнного чувства стоят летописец и прагматик, простодушный рассказчик и скептический исследователь, монах и профессор...

Те намеки, которые у этого летописца и многих других профессор нашел, он удивительно дополнил и развел в яркие картины. Для того чтобы это суметь, надо быть не только профессором, ученым, но и художником. Этому условию так удовлетворяет Ключевский. Он не философ, и в отвлеченных рассуждениях слог его несколько теряет в своей уверенности, и себя как мыслителя Василий Осипович выявляет именно в своих отношениях к конкретному, в той сфере явлений, где он чувствует себя привольно, как их полновластный господин. Такая философия, не уложенная в определенную абстрактную систему, а претворенная в распорядок фактов и запечатленная образным словом,— это и характеризует ученого-художника.

Русская история должна быть рассказана русским языком. Напоминать ли, что Ключевский этот долг исполнил и как он его исполнил? Любая страница его книг говорит об этом сама, говорит каждой строкою, почти каждым предложением своего текста. У него — редкое чувство речи. Он знает, что язык памятливее памяти, консервативнее сознания и в недрах слова нерушимо хранит прошлое: «Язык запомнил много старины, свяянной временем с людской памяти» ***. Это так удобно, так счастливо для Ключевского: к его непосредственному ощущению слова присоединяется сознательное убеждение, что язык — исторический источник,

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 19, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 69, 70, 71, 73; Ч. IV. С. 161.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 112.

*** Там же. С. 141.

вечный памятник старины, в нем находящей свое бессмертие. И вот Ключевский любовно вслушивается в русские звуки, поговорки, в названия древних уроцищ, и вы такое выносите впечатление, точно прежние люди не все ушли, а оставили одного, завещали и наказали ему, чтобы он их представил и воспроизвел, дал понятие новым о старых, рассказал будущему о прошедшем, и рассказал не как ученый только, не просто как искусный знаток и начетчик, а как оставшийся в живых современник старины. Прошлое для Ключевского как бы и не проходило,— так он вживается в него; исчезает граница между прежним и настоящим, когда читаешь его драгоценные книги. И эта связь между древностью и новизной чувствуется так ясно именно потому, что автор говорит по-русски и стилем своим побеждает время. Иной раз самый подбор слов, прежних и теперешних, уже показывает это единство жизни, эту сплошность, которая из Руси и России делает одно целое, одну живую, одушевленную ткань. Вот, например, как воспроизводит Ключевский образ монаха XVI века по представлению современного ему боярства, перемежая тогдашние и теперешние слова, свои и чужие, и сливая их в одну чистую русскую струю, в один синтезированный склад красивой речи: «Это раболепный ласкатель и потаковщик властей, исполненный презорства и гордыни с низшими, расхититель и наставник расхитителей, тунеядец, питающийся мирскими крестьянскими слезами, шатающийся по городам, чтобы бесстыдно выманиТЬ у вельможи село или деревнишку, жестокосердый притеснитель своей братии крестьян, бросающийся на них диким зверем, сребролюбец ненасытный, жидовин-ростовщик, лихоимец и прасол, пьяница и чревоугодник, помышляющий только о пирах и селах с крестьянами, возлюбивший «вся неподобная мира сего», не десятый чин ангельский, не свет мирянам, а «соблазн и смех всему миру»*. Такая слияньность отзывающихся и еще звучащих слов, внешнее проявление внутренней родственности времен, не служит ли новым объяснением той убежденности историка, в силу которой он, подходя к XVII веку, искренне считает себя уже автобиографически ему сопричастным, ему современным, так как это столетие начинает собою новый период истории, тот период, когда возникали уже «ранние зародыши идей, соприкасающихся с нашим сознанием»? «Изучая явления этого времени, чувствуешь, что чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя,

* Ключевский В.О. Боярская дума. С. 275.

своего собственного духовного содержания, насколько оно связано с прошлым нашего отечества»*.

Если вообще деление литературы на форму и содержание не достаточно правильно, не достаточно глубоко, потому что они органически срастаются между собой, проникают друг друга и часто форма является только оттенками содержания, и особенности слога, это — особенности мысли, то по отношению к Ключевскому это надо сказать по преимуществу. Его речь имеет особую интонацию, которой не убивает, не заглушает бумага и напечатанная строка. Кто слышал его лекции и беседы, те знают, что одно из их очарований заключалось именно в переливах интонации, в модуляциях голоса; и нельзя было не удивляться, как много мысли и мудрости, как много сути и содержания можно вложить в самую фонетику речи. И вот эта черта живого Ключевского сохранилась в его книгах. Слышится в них повышения и понижения голоса,— или, может быть, это — иллюзия, призрачное эхо его реальных речей, воспоминание его умолкнувших уст?.. Во всяком случае, несомненно, что если уж делить на части то единое целое, которое представляют собою его страницы, то в нем, кроме традиционных формы и содержания, надо различать еще и тон. Часто последний звучит лукавством — там, где умная шутка только оттеняет умную серьезность и где автор отдается своей, нисколько его не огорчающей склонности — подмечать смешное в людях и отношениях, какой-нибудь изъян в них, какое-нибудь нарушение внешней или внутренней стильности. Где же лукавое отсутствует, там слышится, как мы уже заметили раньше, простая беседа, желание вовлечь в разговор слушателя, сделать его как будто своим сотрудником, установить с ним интимность или, по крайней мере, доброе знакомство.

У Ключевского стиль — каллиграфия. А каллиграфия имеет, кроме положительных, и отрицательные стороны. Она дается нелегко, это не естественный почерк, и она медлительна. Такие особенности мы и видим у нашего писателя. Его фраза построена умно, слишком умно; она не непосредственна, и она не первой и не сама собою сорвалась с пера. Самопроизвольно перо не могло бы создать такого изящества,— нужна для этого еще обдуманная и медленная работа мысли. Первые слова это не те, которые употребляет Ключевский. Он изыскан. Он нередко бывает вычурен; в самой простоте его — искусственность. Стиль его не любит чертить прямые линии, и в этой области автор вовсе и не хочет кратчайших расстояний. Наоборот, он

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.

здесь предпочитает кружные пути, окольные дороги. Он неторопливо, размеренными шагами идет к своей цели. И прежде чем он один раз отрежет, он больше, чем семь раз примерит. Иной раз боишься даже, как бы необычайная обдуманность слова не помешала размаху мысли,— ее широте. Невольно припоминаются цитируемые у этого великоросса великорусские пословицы и вся следующая за ними тирада: «Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают... Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу» *. Так и словесный проселок самого Ключевского приведет куда надо. И получается у него фраза, в которой ничего не переставишь, не изменишь, в которой точность дошла до щепетильности,— фраза слишком готовая. Она не вдохновенная, не горячая, в ней слышится далеко не одна импровизация; но ей присуща вся та красота, которая отличает ум. Отдельные слова и предложения соединяются в общий узор, где каждая черточка тщательно взвешена и смерена, где на каждой детали видна печать настойчивой отделки. Ювелир слова, старинный мастер мозаики, Ключевский и дает в своих произведениях непрерывную художественную вязь. Всегда себе равный, ровный, без уклонений и отступлений, он тихо движется по своим словесным колеям. Филигранная работа над претворением идеи в соответственное слово еще усиливает принципиальную, самодовлеющую, бескорыстную осторожность, которая и вообще так свойственна Ключевскому; и если даже вас поражают иногда стилистические неожиданности, внезапные обороты речи, то вы наверное знаете, что все это, не предвиденное вами, не является таким же для него. Мысль его и слово вспыхивают вдруг; но потом он сам уже тщательно поддерживает этот из темноты бессознательного выплыvший огонек. Однако пусть в его фразах не переливается горячая кровь, пусть они не трепещут, не имеют сангвинического темперамента,— от них не веет, однако, охлаждающее дуновение напряженности; нельзя сказать, чтобы читатель ощущал здесь усилия автора, борьбу со словом, упорное одолевание лексического материала. Ключевский не побеждает, он уже победил, и вы любуетесь его трофеями, и хотя понимаете, как нелегко и как планомерно они победителю достались, все-таки не испытываете впечатления предварительной усидчивости и принужденности. И настолько сроднились у него мысль и слово, что (как

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 387.

это, впрочем, относится и ко всем большим писателям) вы не знаете, что отнести на счет первой и что — на счет последнего. Они помогают друг другу. Излюбленные приемы Ключевского — антитезы и сравнения и далее его хиазмы (крестообразные соединения одних и тех же слов) — одинаково принадлежат и форме, и содержанию его книг.

«Государство пухло, а народ хирел»*. «Личная свобода становилась обязательной и поддерживалась кнутом»**. «Корректура — не реформа» (по поводу Никонова исправления церковных книг). «Что умели делать все, то он (Никон) делал хуже всех»***. «Петр (Великий) отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вместе вечно-подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам — точь-в-точь как чугунная пушка его петровской заводской отливки»****. «Простой народ относился к временщикам с самой задушевной ненавистью»*****. «Он (предок Онегина) старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими»⁶*. Это все — несколько наудачу взятых примеров из фразеологии Ключевского, и не говорят ли они о том, что трудно отличить, где, собственно, кончается самое содержание его идей и где начинается их внешняя оболочка; и, в конце концов, не вернее ли будет сказать, что у него совсем никакой оболочки нет, а его мысли одеты сами в себя? Полутоны и обертоны мыслей, оттенки идей, это и составляет его слог, как это, в сущности, составляет и каждый хороший слог — единый организм мысли и слова. Точно так же характерное для Ключевского остроумие не является каким-то внешним придатком к его мышлению и речи, а сливаются с ними в одну гармонию и поэтому всегда уместно, никогда не звучит отчуждающей нотой. Его красное словцо всегда содержательно, и вопреки поговорке ему в жертву не приносится ни родной отец, ни матушка-правда. Ум, далее играющий, все-таки — ум.

Про опричнину, про этих «штатных разбойников», мы читаем: «Учреждение это всегда казалось очень странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал»⁷*. Генерал-прокурор

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 11.

** Там же. С. 185.

*** Там же. С. 385, 399.

**** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 33.

***** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 169.

⁶* Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887. Кн. II. С. 301.

⁷* Ключевский В.О. Боярская дума. С. 331.

сената должен был по песочным часам следить за интенсивностью и работоспособностью сенаторовых мыслей; он «посредством своих песочных часов руководил его (сената) рассуждениями и превращал его в политическое сооружение на песке»*. Москвичи даже «величали своего государя ключником и постельничим Божиим, применяя язык московского двора к столь возвышенным отношениям»**. «Манифест 18 февраля (1762 г.), снимая с дворянства обязательную службу, ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее, как из своего источника. По требованию исторической логики или общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет»***. Что же, эти остроумные сопоставления, эти шутки, почти каламбуры — нуждаются ли они в оправдании? Не подсказаны ли они самою жизнью, не встретились ли в них субъективный ум и объективный факт, не глубокая ли мысль, целая историческая концепция, смотрит на нас из последнего примера, где показано, как сравнительно с 18 февраля 1762 года трагически запоздало 19 февраля 1861 года? И разве уж очень придирчивый ригоризм посетует, что Ключевский, комментируя и дополняя сатирический образ у Фонвизина¹², дает волю своему остроумию и напоминает, что фонвизинская княгиня Халдина «не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа,— ведь в мужниных же друзей, а не каких-либо иных, поймите вы это»...****

Неожиданно-красивый оборот речи, остроумная диверсия нисколько не мешают существу изложения. Вот, например, в статье «Два воспитания», говоря о принципах древнерусской педагогии и приведя знаменитые слова: «Любя сына, учащай ему раны, не жалей жезла; дщерь ли имаши, положи на ней грозу свою...», Ключевский перебивает самого себя и говорит: «Впрочем, как скоро дело дошло до дочери, у меня не хватает духа продолжать изложение тех изысканных формул, в которых выражали этот прием древнерусские педагогические руководства». Ясно, что здесь дело не в дочери: и без того было бы излишне перечисление всех возможных манипуляций жезла, «т. е. простой глупой палки», но как

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. II. С. 171.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 238.

*** Там же. С. 431.

**** Ключевский В.О. Воспоминание о Новикове // Русская мысль. 1895. Кн. I. С. 45.

находчиво, с каким нравственным и эстетическим изяществом освободил себя автор от дальнейшего углубления в действенные методы «Домостроя»!..

Характерной чертой в остроумии Ключевского и во всей его литературной манере вообще является то, что он никогда не употребляет многоточий,— между тем, казалось бы, ему они были бы к лицу больше, чем кому бы то ни было: ведь многоточие тогда ставится, когда не досказано, не все сказано, когда умолчанием автора открываются для читателя дальнейшие перспективы, а их ли нет у Василия Осиповича? Но в том и состоит его стилистическое лукавство, что он делает вид, будто он ни при чем, будто сказал все, сказал серьезно и не оставил позади и впереди своих слов никакой мысли, никакого умысла; так не подчеркивая себя, он от этого становится еще тоньше и ярче. «В университете при Академии наук лекций не читали, но студентов секли» (оцените это *но!*)*. При Петре «казнокрадство и взяточничество достигли размеров, небывалых прежде, разве только после»**. Сделав частой мишенью своих ядовитых, но все-таки не злых и не убивающих стрел прежнее духовенство, «полицию совести» (и как бы забыв об этом, когда писал свою речь о «Благодатном воспитателе русского народного духа»), он в самом серьезном тоне и с самым серьезным видом, как будто без внутренних и внешних многоточий, повествует нам, что на попойках у Петра в Летнем саду царь слишком щедро угощал водкой, и счастливыми считали себя те, кто мог от нее уклониться: «Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком». Или в те же петровские времена, когда всяческие сборы и налоги «назойливым июльским оводом приставали к плательщику на каждом шагу» и оплачивались даже борода и усы, «с которыми древнерусский человек соединял представление об образе и подобии Божьем»; когда явились разные «прибыльщики» и прожектеры (между ними и Посошков¹³, представивший Петру смелую и яркую, хотя «углем написанную картину» положения России, хоть самый Посошков, который был едва ли не первым фабрикантом игральных карт в России,— о чем не забудут «трудолюбивые люди, наклонные отдохнуть после трудов»),— так в те времена предлагали установить сборы даже с рождений. По этому поводу мы читаем:

* Ключевский В.О. Два воспитания // Русская мысль. 1893. Кн. III. С. 90.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 261.

«Дивиться надо, как могли прожектеры и прибыльщики проглядеть налог на похороны. Свадебная пошлина была уже изобретена древнерусской администрацией... и сама по себе еще понятна: женитьба — все-таки маленькая роскошь; но обложить русского человека пошлиной за решимость появиться на свет и позволить ему умирать беспощадно — финансовая непоследовательность, впрочем, исправленная духовенством» *.

Конечно, от стиля Ключевского страдало не только духовенство, исправляющее всякие финансовые непоследовательности: всем и каждому приходилось нелегко,— хотя бы, например, этим московским князьям Даниловичам, которые при нападении врача уезжают «куда-нибудь подальше, на Волгу, собирать полки, оставляя в Москве для ее защиты владыку митрополита да жену с детьми» **; даже Петра Великого, который был «исключением из всяких правил», Ключевский из своего правила не исключил, даже своеобразную орфографию его вспомнил, то, что будущий преобразователь «между двумя согласными то и дело подозревал твердый знак»; на что уж тишайший был царь Алексей Михайлович, но и его не оставил своею шуткою историк и рассказал про его опыты в стихотворстве: «Сохранились несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами»; а как поздние петербургские преемники государей-москвичей, «больше хронологических знаков, чем исторических лиц», потерпели от характеристик Ключевского, это помнят все.

Вообще, исчерпать хотя бы главные блестки ума, иронии, красоты, пересыпающие творчество Василия Осиповича, было бы задачей трудной, именно потому, что их слишком много. Но, с другой стороны, очень благодарную работу исполнил бы тот, кто извлек бы из его книг собрание его чеканных афоризмов, сравнений, эпиграмм.

Любовь к своему и чужому слову, бережное обращение с родною речью, подбор слов, нанизываемых одно к другому не в случайном, а в необходимом порядке, после предварительной их рекогносцировки,— это присуще Ключевскому до такой степени, что лишь в виде редкого исключения встречаешь какую-нибудь неубранную соринку на его слишком гладкой стилистической дороге (мы бы предпочли, например, чтобы Василий Шуйский¹⁴ не назывался у него «изынтриганившимся»; странно прочесть, что в начале XVI века удельного дмитровского князя Юрия¹⁵ решили «арестовать»; оспоримо

* Там же. С. 46, 53, 170, 172, 174, 175.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 59.

слово «благовеинство»^{*}; зато хорошо в своей смелости необычное употребление: «и над своими горями, и над своими радостями»^{**}. Образ он выдерживает тщательно, метафору следит на всем ее пространстве и почти всегда помнит о ее физическом происхождении, так что, например, слово «стало» не стерлось для него в своем буквальном, а не переносном смысле, и если первоначальное «житие стало во главе двух отдельных сказаний», то Ключевский скажет, что оно «неловко» стало^{***}. Если легенду он однажды назовет «прозрачной», то, запомнив это хорошо, он дальше прибавит, что она «плохо закрывает действительные события, послужившие для нее основой»^{****}. Русские умы были «больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями»^{*****}. Мы нашли только одно исключение из этой выдержанности его метафор (правда, мы и не очень искали их): «Этому взгляду... критик не мог придать цельного изложения, высказывал его по частям, осколками»^{6*} — тут разнородность образов: взгляда нельзя излагать, высказывать, а высказывать нельзя осколками.

В общем же Василий Осипович не только доводит свои образы до полной законченности, но иной раз конкретизация понятий заходит у него даже слишком далеко, становится не совсем приятной. «Преобразовательная увлекаемость и самоуверенное всевластие — это были две руки Петра, которые не мыли, а сжимали друг друга»^{7*}. «К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об ее угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь коптил небо, созерцая звезды»^{8*} (впрочем, остроумна здесь встреча звезд, которые служака созерцает, и неба, которое он коптил).

Ключевский сам, на одной из своих страниц, слегка намечает свое стилистическое credo. «Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого не делается это само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. III. С. 40; Ч. II. С. 169; Ч. III. С. 388.

** Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 384.

*** Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 29.

**** Там же. С. 41.

***** Ключевский В.О. Воспоминание о Н. И. Новикове. С. 54.

6* Ключевский В.О. И. Н. Болтин // Русская мысль. 1892. Кн. XI. С. 114.

7* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 290.

8* Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887. Кн. II. С. 299.

ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит»*.

«Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело» — это не только одна из блестящих крестообразных антитет Ключевского, одно из его фигурных и филигравных изречений,— это и глубокая, хотя и простая истина. Как же одолеть трудность легкого слова? С. М. Соловьев, по Ключевскому, потому достигал этого и потому «резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками», что у него именно мысль была ясная и умевшая отыскивать себе подходящее выражение в слове. «Гармония мысли и слова,— продолжает Василий Осипович,— это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, и корень тяжких неудач наших — в неумении выразить свою мысль, одеть ее как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить»**.

Позволительно с этими рассуждениями в принципе не вполне согласиться. Пусть будет мысль,— остальное приложится, слово приложится. Слово — звучащая мысль, и последняя едва ли не сама собою облекается в подходящее выражение. Поиски слова — это поиски мысли. Когда она во всех ее оттенках, во всех ее изгибах и складках найдена,— найдено все. Впрочем, спорить с теорией Василия Осиповича лучше всего ссылкой на него самого,— на его практику, которая, как мы старались показать, при всей его заботе о стиле, представляет органически-слиянное единство мысли и слова. Тонкости его стиля — тонкости его идей. И если он хвалит Соловьева за то, что общие исторические идеи органически вырастали у него из объясняемых ими фактов, как «старинные колонны, обвитые вьющимся растением» создают иллюзии, будто эта молодая жизнь, эти вьющиеся побеги «растут из самого мрамора»***,

* Ключевский В.О.С. М. Соловьев как преподаватель // Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899. С. 9.

** Там же. С. 10.

*** Там же. С. 19.

то не только такая слитность мысли и факта присуща и самому Ключевскому, но его характеризует и подобная же внутренняя тождественность мысли и слова. Вообще, все то, что вменяет в заслугу ученик учителю, Ключевский Соловьеву, — все это характеризует обоих, и достойным преемником славного предтечи оказался тот студент III курса, Василий Ключевский, который начал слушать соловьевский курс русской истории в такую пору, когда, по одному из многих его счастливых выражений, студент уже чувствует себя «хозяином своего я» и уже в состоянии «ухватить себя за свои собственные усы»*.

Было бы, может быть, слишком специально и слишком детально входить в разбор того, насколько Ключевский сознательно прибегал к созвучию слов, к намекающим аллитерациям, насколько он ценил музыкальность речи. Такие выражения, как «правитель без правил» (о Петре), или «он упорным упражнением умел» (про И. В. Лопухина), или «логика полумыслей и политика полумер» (о московских князьях), говорит о том, что во всяком случае не уклонялся он от выразительности звуковых сочетаний.

Живая работа сердца, глубокий дух научного исследования и вот только что отмеченная нами в общих чертах эстетика — это все и является теми ernste und ewige Dingo**, теми моментами высшей серьезности, которые служили для Василия Осиповича палладиумом и охраной от могущественных соблазнов скептицизма и нигилизма. Эти же начала объясняют и то явление, что, как мы уже сказали, Ключевскому в одной только фактической истории было тесно. У него есть выражение: «Факт, отработанный историей»; если так, если история отрабатывает факты и они после этого исчезают, теряют свое значение и смысл, то ясно, что одной подобной истории, одной временности мало — мало тому, кто тяготеет к ценностям постоянным и непреходящим. Не оттого ли и уходил Ключевский в литературу, даже в литературную критику, на которую он, сам такой значительный художник, пестун слова, имел столь неоспоримое право?

Однако именно в этой области особенно сказалось, что он как-то не принимал человека без людей. «Единственный и его собственность»¹⁶, индивидуализм вообще — это не его излюбленная сфера. Ему важно единое связать со многим, личность — с обществом, и человек одинокий, самодовлеющий, вне исторической солидарности со своими соседями, предками и потомками, не казался ему

* Там же. С. 7.

** Ernste und ewige Dingo — серьезные и вечные вещи (*нем.*).

важной, ценной, может быть — даже реальной величиной. Он был слишком практик (в лучшем смысле слова), чтобы думать иначе. Ведь даже самое знание он, жрец знания, ценил с его практической стороны, в его связях с нашими нуждами, стремлениями и поступками, а не само по себе: «Иначе знание становится простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза» *. Высшее бескорыстие чистой и одинокой идеи, личность, отрешенная от других,— это не входит в поле зрения историка. И «нравственный уровень общества так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука» **.

Междуд тем литературное творчество и всякое искусство вообще имеют свое сосредоточие как раз в личности творца, в индивидуальных особенностях художника. Впрочем, не все так думают: многие, наоборот, в искусстве выдвигают на первый план как раз его общественные моменты. Тогда, чтобы не спорить, скажем более миролюбиво и приемлемо: в искусстве есть и личная, и общественная сторона. Естественно, что экскурсы Ключевского в область русского искусства, русской художественной литературы, касаются именно последней, а не первой. Он — глубокий почитатель Пушкина, и так понимаешь, так приветствуешь его слова: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует» ***; но в первой своей речи о нем он осветил как раз исторический элемент его художества, его значение для русской историографии; мало того, он незаконно отделяет в Пушкине эстетическое от нравственного, не вполне отчетливо различает в нем вечное. «Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология... И сам Пушкин — ...представитель исчезнувшего порядка идей... Мы ошибемся в цене его современников, если забудем, сколько сил этого великолепного таланта потрачено было на ветер,

* Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. С. 38.

** Ключевский В.О. Воспоминание о Н. И. Новикове // Русская мысль. 1895. Кн. I. С. 55.

*** Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки // Русская мысль. 1887. Кн. II. С. 306.

на детские игрушки для взрослых»*. Для тех, кому Пушкин не прошлое, а вечное настоящее, тревожною загадкой звучат слова, что много его таланта ушло на игрушки, и непонятно, где, собственно, у Пушкина, в его личных воззрениях, нравственная археология... И в другой, знаменитой, статье о Пушкине «Евгений Онегин и его предки» Ключевский тоже говорит, что Евгений Онегин теперь — «просто предмет изучения, как историко-литературный памятник»: согласятся ли с этим те, кто из пушкинского романа и до сих пор черпает неисчерпаемое художественное наслаждение и вовсе не видит в Онегине просто историко-литературного памятника?... Очень ценные исторические комментарии Василия Осиповича к поэтическому, не бледнеющему тексту Пушкина, особенно установление своеобразной генеалогии Евгения Онегина, опирающееся на одну из любимых идей Ключевского, — на идею отражения и искажения западничества в России; но вечная сторона пушкинского дара не показана с такою же яркостью, вниманием и силой. Зато радостно читать лирические воспоминания Василия Осиповича о том, чем в молодости был Пушкин для него и для его сверстников, как он «беззащитно» отдавался обаянию пушкинского стиха, как он и каждый из его ровесников-единомышленников «давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно если напишет ему такое же хорошее письмо»... И, обращаясь к своей аудитории, ласково говорит Ключевский: «Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редеющего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом»**.

На той же, конечно, исторической точке зрения стоит Ключевский и в своем, как всегда, утонченном и оригинальном «опыте исторического объяснения учебной пьесы», посвященном «Недорослю». Там очень явственными нитями связаны с русской жизнью образы Фонвизина: как его отрицательные типы, так и «академики добродетели» — Стародум, Правдин, Милон. Но трудно согласиться с мыслью автора, что комизм «Недоросля» основан на тонком различении людей и ролей: его «лица комичны, но не смешны, комичны, как роли, и вовсе не смешны, как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь

* Венок на памятник Пушкина. СПб., 1880. С. 271–272.

** Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки. С. 292, 293.

их вне театра, дома или в обществе». Ведь это не специфично для «Недоросля», это характеризует не его одного: разве, например, Фамусов, Молчалин, городничий, Держиморда и унтер-офицерская вдова в реальной жизни, не на сцене, смешны? Разве и о них не думаешь той же тягостной думы, какая, по неизменно-красивому слову Василия Осиповича, посещает нас, когда после созерцания забавных положений в театре мы выходим «из душного марева электрического света на пронизывающую свежесть уличной мглы»?*

Ключевский был так знаменит, что *incognito* не могло ему удастся; своего стиля, своего умственного лица он не мог бы скрыть ни под какой личиной. Поэтому все читающее русское общество сразу, по когтям, узнало его под скромной буквой *K.*, подписавшей статью «Грусть» в «Русской мысли» (1891. Кн. VII) — статью о Лермонтове. И есть нечто знаменательное в том, что как раз этот очерк мы не имеем формального права причислять к литературному наследству Василия Осиповича. Пусть и здесь автор в субъективных настроениях поэта видит одновременно и очень важный исторический симптом, пусть они в его глазах совпадают с душевной категорией всего русского народа, пусть сближает *K.* грусть Лермонтова с «практической русско-христианской грустью» царя Алексея Михайловича, — во всяком случае, только здесь, только у *K.*, а не у Ключевского, на первое место поставлены личные эмоции, только здесь мы видим проникновение в самодовлеющий внутренний мир писательской индивидуальности. И надо сказать, что хотя статья эта была в свое время иными встречена резко и недружелюбно, как парадокс, как извращение истины, она, на наш взгляд, верно и глубоко прозревает основную стихию Лермонтова. И Владимир Соловьев, и Мережковский¹⁷, и многие другие критики, с разной оценкой, но с одинаковой настойчивостью, как факт, выдвигали демонизм, сверхчеловечество нашего поэта и главной его чертою считали гордыню; между тем *K.* раньше и лучше других понял, что Лермонтов только рядился в трагические маски, примерял к себе байронизм, хотел, по меткой характеристике автора, казаться «лейб-гвардии гусарским Мефистофелем», а на самом-то деле, в глубине сердца, был искренне-грустен, но прост и смиренен, как проста и смиренна русская природа и русская народная душа, и подлинными симпатиями своего духа тяготел не к эффектам злобы и сарказма, а к тихому величию доброты и отречения, не к Печорину, а к Максиму Максимычу.

* Ключевский В.О. Недоросль Фонвизина // Искусство и наука. 1896. Кн. I. С. 12, 13.

Кроме исторического толкования литературы, возможно и отношение к ней чисто-имманентное, т. е. такое, при котором ее освещаешь ее собственным светом, не уходишь в сторону от литературного произведения, а, напротив, остаешься исключительно в нем, проникаешь в него все глубже и глубже и пользуешься только теми материалами, какие дает оно само. Можно рассматривать художника в пределах его личности, безотносительно к стране и эпохе, вне условий исторического времени и пространства. О таком понимании искусства, о таком абсолютизме литературной критики, в кружке «Научного слова», под гостеприимным кровом Г. К. Рахманова¹⁸, с пишущим эти строки не однажды вел оживленные беседы Василий Осипович. Он соглашался брать каждого человека и каждого писателя только на определенной долготе и широте; он, разумеется, не поступался ни одной пядью своей исторической позиции, — но он понимал и другое мировоззрение, он чутко вслушивался и в другие мысли. И он говорит, что во всяком случае они представляют для него, уже как для историка, значительный интерес и что, может быть, при характеристике новейшего периода русской жизни ему придется отметить и подобное, не совсем традиционное отношение к нашей художественной литературе, он указывал даже, что есть одна родственная почва, на которой он со своим диспутантом может сойтись вполне... И не было большей поучительности, чем с этим историком разговаривать о внеисторических моментах и методах. И он хотел еще и еще вернуться к этой заинтересовавшей его теме.

Но смерть отнимает у нас наших собеседников, она не дает окончить разговора... И теперь, когда навсегда замолкли умные уста Василия Осиповича, в виде неискусной благодарности за то бодрящее, что пришлось из них слышать, один из его собеседников, не-историк, посвящает его памяти свои посильные страницы...

